

КОД ЭВОЛЮЦИИ

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Код эволюции

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Код эволюции / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Молекулярный биолог Елена Ким, чья двенадцатилетняя дочь Мира угасает от неизлечимой наследственной нейродегенерации, обнаруживает в человеческом геноме молчащий участок некодирующей ДНК длиной в четыре тысячи пар оснований — тот же самый, что встречается у почвенного гриба, морской губки, архей и десятков других видов, разошедшихся на древе жизни миллиард лет назад. Совпадение невозможно случайно. Кто-то вписал этот код в жизнь на Земле и оставил дверь, которую можно открыть. Елена находит ключ. Использует его на дочери. И понимает — слишком поздно, — что первый слой инструкции был лишь приманкой. Второй слой ждёт своего часа.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Экспозиция	5
Часть 2. Завязка	9
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Эдуард Сероусов

Код эволюции

Часть 1. Экспозиция

Секвенатор гудел так, как гудит холодильник в пустой квартире, — ровно, безразлично, будто ему всё равно, чей геном он сейчас разбирает на буквы. Елена сидела к нему спиной. Она давно научилась не смотреть на прибор, пока он работает: в его размерности было что-то оскорбительное. Машина не спешила. Машине было некуда спешить — в отличие от людей, чью жизнь она измеряла в парах оснований.

У Миры оставалось, по последней оценке, от девяти до четырнадцати недель.

Елена держала на коленях планшет с историей болезни, но не читала его. Она знала всё наизусть, до последнего значения в последнем анализе. Наследственная нейродегенерация, синдром без внятного имени, вписанный в дочь ещё до её рождения, — поломка в гене, отвечающем за то, чтобы клетки нервной ткани умели чинить сами себя. У большинства людей умеют. У Миры — нет. Её клетки разрушались быстрее, чем строились, и никакая медицина двадцать первого века не могла перевесить эту простую арифметику убыли. Можно было замедлить. Нельзя было остановить. Врачи говорили «замедлить» так, будто это утешение, а не растянутый приговор.

Отец Елены умер почти от того же. Ей было десять. Она помнила его руки в последние месяцы — как они переставали слушаться, как он ронял ложку за завтраком и смеялся, громко, нарочно, чтобы дочь не пугалась. Она не пугалась. Она смотрела очень внимательно и решала внутри, молча, что станет тем человеком, который это исправит. Тридцать лет спустя она сидела в лаборатории корпорации, обещавшей победить смерть, среди приборов, каких её отец не увидел бы и в фантастике, — и смотрела, как та же поломка забирает её собственного ребёнка. Наука прошла огромный путь. Она никуда не пришла.

Экран мигнул. Прогон закончился.

Елена развернулась в кресле. Она собиралась искать то, что искала всегда, — мишень, точку, за которую можно зацепиться терапией, хоть какую-нибудь ниточку. Но взгляд споткнулся не о больной ген Миры. Взгляд споткнулся о длинный участок некодирующей ДНК по соседству — тот самый «мусор», через который все переступают, спеша к работающим генам.

Что-то в паттерне было знакомым. Не по смыслу — по форме, как знаком почерк, прежде чем прочтёшь слово.

Она нахмурилась, увеличила. Последовательность нуклеотидов, длинная, почти на четыре тысячи пар оснований, — и она уже видела её сегодня. Не у человека. Днём, между делом, она прогоняла контроль по чужому проекту: образцы почвенного гриба из отдела биоматериалов, что-то про биолюминесценцию, светящуюся плесень для декоративных панелей. Просто услуга коллеге, десять минут работы, она и не вникала.

Елена открыла тот файл. Положила рядом, встык.

Совпадение было не приблизительным. Оно было точным. Буква в букву, от начала до конца.

Она сидела очень тихо. Прижала два пальца к запястью — старая привычка считать пульс, когда мысль ещё не оформилась, а тело уже знает, что что-то не так. Пульс был частый, ровный.

Человек и почвенный гриб разошлись на древе жизни больше миллиарда лет назад. У них не может быть общего куска ДНК длиной в четыре тысячи пар. Не общего работающего гена — тут ещё можно спорить о глубокой консервации, о том, что важное природа бережёт, —

а именно вот этого, неcodирующего, молчащего, на который отбор не давит и который поэтому дрейфует свободно, копит мутации, расходится быстрее всего на свете. За миллиард лет свободного дрейфа от него не должно было остаться и двух совпадающих букв подряд. Статистика этого просто не позволяла: вероятность случайного совпадения была числом с таким количеством нулей после запятой, что его не с чем было сравнить в наблюдаемой вселенной.

А совпадали все четыре тысячи.

— Это загрязнение, — сказала Елена вслух, пустой лаборатории.

Самое разумное объяснение, и оттого самое желанное. Образцы перепутались; реагент занёс чужую ДНК; программа сборки ошиблась и склеила два генома в один. Так бывает. Так бывает постоянно, и хороший учёный первым делом подозревает не чудо, а грязную пробирку и собственную усталость.

Она должна была уйти. Смена кончилась три часа назад, завтра в семь у неё разбор с командой, дома ждала пустая квартира, потому что единственный человек, ради которого стоило возвращаться домой, лежал этажом ниже, в детском отделении. Она осталась. Потому что если это загрязнение — она сотрёт файл и забудет к утру. А если нет — то она смотрит сейчас на то, чего не видел никто из живущих, и уйти от этого было выше её сил.

Елена запустила прогон заново. Новые расходники, другой бокс, свои руки, ни единого шанса на перекрёстную грязь. Секвенатор загудел — ровно, безразлично. Ему было всё равно.

Она пошла в палату, пока машина работала.

Ночью детское отделение Helix выглядело как аквариум: приглушённый свет, мягкое гудение мониторов, синеватые прямоугольники экранов над каждой кроватью, тихий писк, отмерявший чьи-то сердца. Мире было двенадцать, но болезнь ужала её до размеров девятилетней — тонкие запястья, кожа, сквозь которую на висках просвечивали вены, слишком большие для лица глаза. Коса, заплетённая набок, лежала на подушке. Мира заплетала её сама, каждое утро, даже теперь, когда пальцы уже плохо слушались и на это уходило по двадцать минут; это был её способ сказать миру, что она ещё здесь, ещё сама распоряжается собой, что болезнь забрала многое, но не право заплести собственные волосы.

Елена села на край кровати, осторожно, чтобы не разбудить. Смотрела на спящее лицо дочери и на косу и думала о том, что всю жизнь выбирала лабораторию против палаты — уходила от постели больного к приборам, веря, что первое спасёт второе. Это была её вера и её вина, слитые в одно, неразделимые.

— Я, кажется, нашла что-то странное, — сказала она тихо, зная, что дочь не слышит. — Не лекарство. Просто странное. Но иногда странное — это дверь. Иногда за странным что-то есть.

Мира пошевелилась во сне, что-то пробормотала, не проснувшись.

Планшет в кармане завибрировал. Второй прогон закончился.

Елене не хотелось вставать. Хотелось остаться тут, в синем полумраке, где дочь ещё дышала, где ещё можно было держать её за руку. Но она встала — потому что всю жизнь так и делала, — и в дверях обернулась. Коса на подушке, тёмная на белом. Она запомнила эту картину, сама не зная зачем, и унесла её с собой наверх, к приборам.

Второй прогон дал то же самое. Буква в букву.

К четырём утра Елена перестала думать про загрязнение. К пяти она уже сидела внутри вопроса, от которого кружилась голова и пересыхало во рту.

Она вытащила базы данных — все, до которых дотягивался её доступ. Прогнала последовательность не против гриба, а против всего: против каждого секвенированного генома на планете. И база начала отвечать, строка за строкой, и с каждой строкой мир становился всё менее похож на тот, в котором Елена прожила сорок с лишним лет. Человек. Гриб. Морская губка. Археи из глубоководных горячих источников. Мох. Кальмар. Кишечная бактерия. Сорок с лишним видов, не связанных ничем, разбросанных по всем ветвям древа жизни так,

что общего предка у них не было с тех времён, когда жизнь ещё только училась быть многоклеточной, — и у всех, у всех сорока, один и тот же участок. Некодирующий. Молчащий. Одинаковый до буквы.

Наследованием это не объяснялось — ветви разошлись слишком давно и слишком далеко. Горизонтальным переносом не объяснялось — губка на дне океана и археи в кипятке не обмениваются генами через воду и миллиард лет. Оставалось единственное объяснение, и оно было не биологическим.

Кто-то это вписал.

Елена откинулась в кресле. Слово «кто-то» встало посреди головы и не желало уходить. Она была учёным до мозга костей и ненавидела это слово в науке — «кто-то», умысел, замысел, всё, чем во все века затыкали дыры незнания. Но данные не оставляли зазора. И самое странное: последовательность не была текстом. В ней не читались буквы, слова, схемы — ничего человеческого, ничего, что можно было бы «прочитать». Она была отпечатком. Как палец, однажды вдавленный в глину, — вдавленный в геномы сорока разных существ на сорока развилках эволюции, за миллиард лет до того, как первый человек посмотрел на звёзды. Отпечаток не сообщал ничего конкретного. Он сообщал только одно, но сообщал громко и через всю биосферу разом: я был здесь. Я был здесь раньше вас.

И ещё Елена увидела то, отчего дыхание сбилось.

Участок был не просто одинаков. Он был заперт. Молчащий, некодирующий — но с чёткой структурой, с чем-то, до жути похожим на замок. Промоторная область, которую в норме ничто не включало, потому что ни одна клетка на Земле не знала пароля. Но пароль был вычислим. Елена, глядя на структуру, видела форму ключа так же ясно, как слесарь видит бороздку по очертанию скважины. Нужный сигнальный белок, нужная последовательность активации — и молчащий участок заговорит. Начнёт транскрибироваться. Начнёт что-то строить.

Она не знала что. В этом и был весь ужас, и вся притягательность: никто на Земле не знал, что построят эти инструкции, потому что их никогда не включали. Миллиард лет ключ ждал в замке, и никто не поворачивал его — не потому, что берегли, а потому, что не умели.

За окном серело. Елена смотрела на форму ключа и думала о дочери двумя этажами ниже, у которой оставалось от девяти до четырнадцати недель, и о том, что все известные двери она уже перепробовала, все до одной, и за каждой было «замедлить», и ни за одной — «остановить».

— Нет, — сказала она. Тише, чем в первый раз. Уже не веря себе.

Она сказала «нет» ещё много раз в следующие два дня — и всё это время готовила эксперимент.

Так работал её ум, так работал всегда. Пока губы твердили про осторожность, руки заказывали синтез активирующего белка, растили культуры, выстраивали контроли, писали протокол. Она говорила себе, что это чистое исследование: включить, посмотреть, выключить, описать, опубликовать. Не на человеке. Не на Мире. На клетках в чашке, за стеклом, где всё безопасно и, главное, обратимо. Клетки можно сжечь. Ошибку в клетках можно исправить автоклавом.

Она почти верила в это.

Культуру выбрала человеческую — фибробласты, обычные клетки кожи, размноженные в ровный слой на дне чашки Петри. Ввела активатор поздно вечером, снова одна, снова вопреки тому, что смена давно кончилась. В лаборатории было темно, светился изнутри только рабочий бокс. Елена поставила чашку в термостат, села рядом, прижала два пальца к запястью и стала ждать.

Первые часы — ничего. Клетки жили обычной жизнью клеток, делились, дышали. Она почти успокоилась и почти обрадовалась разочарованию: разочарование значило бы, что мир

остался нормальным, что «кто-то» — всё-таки артефакт, глюк программы, что завтра она посмеётся над собой и вернётся к настоящей работе, к поиску мишени для дочери.

К полуночи культура начала синтезировать белок, которого не было в природе.

Елена увидела это по приборам раньше, чем глазами. Масс-спектрометр выдал массу, которой не соответствовало ничто в базах, — молекулу, которую никто никогда не выделял, потому что она никогда не существовала. И клетки строили её послушно, целыми конвейерами, споро, будто всю свою эволюционную жизнь ждали только этой команды.

А потом она увидела глазами.

Белок не оставался в клетках. Он выходил наружу, в межклеточную среду, и там начинал собираться сам — молекула к молекуле, слой к слою, с той спокойной геометрической неотвратимостью, с какой растёт кристалл в перенасыщенном растворе. Но кристаллы не светятся. Это светилось. Слабо, на самой границе видимого, ровным холодным светом — так светится в темноте циферблат старых часов.

Елена наклонилась к боксу вплотную. За стеклом, в чашке размером с ладонь, из человеческих клеток росла решётка — тонкая, ветвистая, самоподобная, повторяющая свой рисунок на каждом масштабе, — и она светилась, и в этом свечении не было ни жизни, ни смерти. Была третья вещь, которой у Елены не находилось слова, и от отсутствия слова становилось особенно не по себе.

Она сидела и смотрела и не выключала. Ключ, найденный ею, только что открыл дверь, и за дверью оказался свет. Самое честное, что могла бы сделать сейчас Елена Ким, — сжечь культуру, стереть файлы и не сказать никому и никогда.

Она прижала два пальца к запястью. Пульс колотился. Она была ещё способна бояться — тогда ещё была, и это стоит запомнить, потому что дальше будет иначе.

Она не сожгла. Она думала о дочери и о том, что клетки в этой чашке, только что переставшие быть собой, выглядели при этом идеально, невозможно здоровыми. Ни следа умирания. Наоборот — они чинились, латали в себе всё, до чего дотягивались, с той же жадностью, с какой строили чужой белок. Они выздоравливали, переставая быть человеческими.

Елена смотрела на светящуюся решётку и видела не чашку Петри. Видела косу на белой подушке двумя этажами ниже.

Часть 2. Завязка

Сорок часов. От мгновения, когда она ввела активатор в кровь дочери, до мгновения, когда Мира открыла глаза и попросила есть, прошло ровно сорок часов, и Елена не спала ни одного из них.

Она не помнила, как приняла решение. Не было сцены у постели, где она стоит и мучительно выбирает между этикой и любовью, — этой сцены не случилось, потому что выбора она себе не оставила. Между «моя дочь умрёт через два месяца» и «в чашке светятся здоровые клетки» не помещалось сомнение. Она подобрала дозу, рассчитала, как провести активатор через гематоэнцефалический барьер в нервную ткань, сделала это сама, ночью, никому не сказав ни слова, — и назвала это про себя не экспериментом на человеке, а спасением. Слова важны. Слова решают, чем ты потом будешь гордиться и от чего будешь просыпаться в холодном поту.

Первые часы Мире было плохо. Жар под сорок, бред, показатели скакали так, что Елена дважды тянулась к тревожной кнопке и дважды отдёргивала руку, — нажать значило объяснять, а объяснять было нечего и некому. Она сидела в темноте палаты, держала горячую сухую ладонь дочери и считала про себя, как считала в детстве, когда болел отец, — не молитву, она не умела молиться, а простые числа, вверх, до тех пор, пока страх не отступал за спину цифр.

А потом кривые пошли вверх. Не к норме — выше нормы. Регенерация нервной ткани, которую вся медицина считала у человека невозможной, шла на мониторе в реальном времени: клетки, тридцать лет не умевшие чиниться, чинились теперь с яростью, навёрстывая разом всё разрушенное, отвоёвывая утраченное по годам за часы.

На сороковом часу Мира открыла глаза, посмотрела на мать ясно, как не смотрела уже год, и сказала осипшим голосом:

— Мам, ты страшно выглядишь. Ты вообще спала?

Елена засмеялась и заплакала одновременно — это было единственное, что она умела в тот момент. Смеяться и плакать, держа тонкую руку дочери, в которой впервые за годы была сила, настоящая, живая, отвечающая на пожатие.

— Есть хочу, — добавила Мира. — Очень. Прямо ужасно.

Елена принесла ей всё, что нашла в автомате на этаже, — печенье, сок, какие-то батончики, — и смотрела, как дочь ест, жадно, роняя крошки, живая. Смотрела, как возвращается цвет на щёки. И глубоко на дне, под оглушающим счастьем, шевельнулась мысль, которую она тут же придавила, как придавливают ногой искру: это было слишком легко. Слишком полно и слишком быстро. Болезни так себя не ведут. Болезнь отступает по сантиметру, торгуется за каждый день, а эта сдалась вся, сразу, целиком — будто её попросил уйти тот, кому не отказывают.

Мира доела и уснула — здоровым, тяжёлым сном сытого ребёнка. Утром, проснувшись, она первым делом подняла руки к голове и заплела косу набок. Пальцы слушались. Это заняло у неё не двадцать минут, а две.

Елена смотрела на это из угла палаты и плакала уже без смеха, тихо, и не могла бы сказать, чего в её слезах было больше — счастья или того самого, придавленного, что уже подняло голову и смотрело.

Ханна Восс нашла её через два дня, когда о «случае спонтанной ремиссии в отделении Helix» уже шептались по всем этажам, и загнала в переговорную без камер, придержав дверь плечом.

— Ты её включила, — сказала Ханна без приветствия, без предисловий. Под мышкой она держала стопку бумажных распечаток — Ханна не доверяла экранам никогда, и над этим

посмеивались, пока не перестали. — Последовательность. Ту самую. Ты нашла ключ и повернула его в живом ребёнке.

Елена не сразу поняла, о чём речь, — вернее, поняла сразу, но не хотела понимать.

— Ханна. Тебя же...

— Уволили. Да. Отсюда, за то, что я гоняла эту последовательность вместо того, что мне велели. — Ханна швырнула распечатки на стол, и они разъехались веером. — Восемь лет, Елена. Меня называли паникёршей, выживающей из ума, я слышала это столько раз, что почти поверила. А теперь по твоему отделению ходит доказательство того, о чём я предупреждала, и ходит с косой набок. — Она подалась вперёд. — Ты повернула ключ, не прочитав, что написано на двери.

— На двери написано: здоровый ребёнок, — сказала Елена, и внутри поднялось что-то жёсткое, ошетилившееся. — Ханна, она сегодня утром сама заплела косу. За две минуты. Ты понимаешь, что это? Никакая терапия на планете...

— Я понимаю лучше тебя. Боюсь, что намного лучше. — Ханна ткнула пальцем в верхнюю распечатку, где знакомый Елене паттерн был разложен иначе — не в строку, а слоями, друг под другом. — Ты прочитала первую страницу и решила, что это вся книга. Активация. Синтез. Решётки. Резонанс. Исцеление. Красиво, чудесно, спасительно. Первый слой. — Она перевернула лист. Под ним лежал второй, гуще, темнее исписанный, с областями, которые Ханна пометила красным и оставила пустыми. — А это — под ним. Второй слой инструкции. Он включается не сразу. По своему графику. И я не смогла его дочитать до конца, Елена, у меня не хватило ни времени, ни доступа, но я дочитала достаточно, чтобы перестать спать. Первый слой — приманка. Он чинит тело, чтобы тело согласилось. А на что оно соглашается — написано ниже. Переверни лист. Просто переверни лист.

Елена смотрела на второй слой. Там была структура — да, там несомненно было продолжение, — и всё в ней восставало против того, чтобы это признать. Признать значило допустить, что она ввела дочери не лекарство, а начало чего-то, чему сама не знает конца. А этого мать, только что вернувшая ребёнка с того света, допустить не могла.

— Это может быть чем угодно, — сказала она, и голос вышел ровнее, чем ей хотелось. — Побочная транскрипция. Шум, в котором ты видишь замысел, потому что восемь лет искала замысел. Ты искала чудовище так долго, Ханна, что теперь видишь его в каждой тени.

Слова были жестокими, и она знала, что жестокими, и сказала их именно поэтому — потому что альтернатива была невыносима, а человек, которому невыносимо, бьёт по тому, кто держит перед ним зеркало.

Ханна медленно собрала распечатки со стола. Выпрямилась. Лицо у неё стало не обиженным — усталым, очень старым.

— Я один раз в жизни уже промолчала, — сказала она тихо, у самой двери. — Давно. Знала про риск в одном проекте и промолчала, потому что говорить было неудобно, невыгодно, некстати. Погибли люди. Немного, трое, но они были живые до того, как я решила, что удобнее молчать. С тех пор я не молчу никогда, и меня за это ненавидят, и увольняют, и зовут паникёршей. — Она посмотрела на Елену прямо. — Ты сейчас стоишь на моём старом месте, только вывернутом наизнанку. Тебе удобно не слышать. Дочь жива, ты героиня, вокруг чудо — зачем портить. Я понимаю тебя, честно, как никто. Просто запомни, что я приходила. Придёт день, когда тебе понадобится вспомнить, что я приходила.

Она ушла. Елена осталась одна в переговорной с ощущением, что выиграла спор и что-то в этом споре навсегда предала.

Дэвид Оконкво вызвал её тем же вечером, и по одному тому, как он поднялся ей навстречу из-за стола, Елена поняла: тихо не будет уже никогда.

Кабинет директора Helix висел над ночным городом стеклянным фонарём. Оконкво был безупречен, как всегда, — костюм сидел идеально, — но воротник рубашки оказался ему

велик, осязательно, на палец, и Елена, привыкшая читать тела как тексты, прочла это раньше, чем он открыл рот. Он таял. Под безупречной тканью пряталось тело, которое уходило, и уходило быстро.

— Рак, — сказал он, поймав её взгляд. Он всегда шёл на опережение, отбирал у собеседника вопрос прежде, чем тот успевал его задать. — Четвёртая стадия, если вам нужна медицинская точность. Мне дают меньше, чем давали вашей дочери неделю назад. — Он улыбнулся, без горечи, почти светски. — А теперь вашей дочери не дают ничего, потому что вы её вылечили. Садитесь, Елена. И расскажите мне, как.

Она рассказала. Не всё, но достаточно — про последовательность, про активацию, про регенерацию, про решётки. Она думала, что рассказывает коллеге-учёному, и говорила осторожно, с оговорками, с «мы пока не знаем». Она забыла, кому на самом деле рассказывает. Она рассказывала умирающему.

Оконкво слушал, и лицо его менялось так, как меняется лицо приговорённого, которому в камеру смертников вдруг входят с ключом.

— Вы понимаете, что вы сделали, — сказал он, когда она замолчала. Он встал, подошёл к стеклу, к россыпи городских огней внизу. — Не для своей дочери. Для всех. Вы держите в руках конец смерти. Не отсрочку — конец. — Он говорил негромко, и от этой негромкости слова весили больше. — Люди не покупают лекарство, Елена. Знаете, что они покупают на самом деле, всегда, у любого врача, у любого шарлатана? Ещё одно утро. Ещё один раз проснуться и увидеть свет в окне. Я торгую утрами всю жизнь, с тех пор как не смог купить ни одного лишнего утра брату, — и мне всегда, всегда не хватало товара. А теперь товара бесконечно много.

— Дэвид, мы не знаем, что это, — сказала Елена. — Мы включили процесс, которого не понимаем. Есть данные, которые нужно проверить, есть предупреждения, которые...

— Ханна Восс, — сказал он спокойно, не оборачиваясь. — Я знаю, что она к вам приходила. Я знаю все её теории наизусть, я восемь лет получал её письма и восемь лет их не читал до конца. Восемь лет апокалипсиса без единого факта, за который можно ухватиться руками. А у вас — факт. У вас по коридору ходит факт с косой набок и просит добавки. — Он повернулся. — Я запускаю программу. «Улучшение». Мы масштабируем то, что вы сделали для одного ребёнка, на всех, кто захочет. А захотят все, Елена, поверьте человеку, который сорок лет смотрел в глаза людям в ту минуту, когда они узнают свой диагноз. И вы будете лицом программы. Учёный, спасший собственную дочь. Лучшего лица не придумать, я бы за такое лицо заплатил состояние, а оно у меня есть даром.

— Я не согласна, что это безопасно.

— А вам и не нужно соглашаться, что это безопасно. — Он сказал это без нажима, почти мягко, и оттого страшнее всякого крика. — Мне нужно, чтобы вы стояли рядом, когда я это объявлю. Объявлю я в любом случае, с вами или без. Вопрос только в том, будете ли вы внутри, где можно на что-то влиять, тормозить, требовать проверок, — или снаружи, где можно лишь писать гневные письма, которые никто не читает. Как Ханна.

Елена молчала. Он был прав в самом отвратительном из возможных смыслов: остановить его она не могла, а стоя рядом — могла хотя бы тянуть время, выбивать протоколы, вставлять контроли, замедлять. Так она себе это объяснила, стоя в стеклянном фонаре над ночным городом. Так объясняют себе всё те, кто входит внутрь и потом не может понять, в какой именно момент стал частью того, против чего шёл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.